Амелия и Жермена

Бенжамен Констан

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это не художественная проза, написанная постфактум по мотивам собственных переживаний в расчете на публикацию, — это настоящий дневник, где французский писатель день за днем анализирует свои любовные сомнения и терзания.

Героини дневника тоже лица не вымышленные, а вполне реальные; одна из них вошла в историю как умнейшая женщина рубежа XVIII и XIX вв.

- Бенжамен Констан
  -
  - № 1. — 6 января 1803 года
  - № 2. — 8 января
  - № 3. — 9 января
  - № 4. — 15 января
  - № 5. — 19 января
  - № 6. — 20 января
  - № 7. — 22 января
  - № 8. — 23 января
  - № 9. — 24 января
  - № 10. — 25 января
  - № 11. — 26 января
  - № 12. — 27 января
  - № 13. — 29 января
  - № 14. — 30 января
  - № 15. — 1 февраля
  - № 16. — 2 февраля
  - № 17. — 3 февраля
  - № 18. — 5 февраля
  - № 19. — Тот же день
  - № 20. — 8 февраля
  - № 21. — 19 февраля
  - № 22. — В тот же день
  - № 23. — 2 марта
  - № 24. — Тот же день
  - № 25. — 4 марта
  - № 26. — 8 марта
  - № 27. — 14 марта
  - № 28. — 17 марта
  - № 29
  - № 30. — 21 марта
  - № 31. — 10 апреля

Бенжамен Констан
Амелия и Жермена

Перевод с французского и вступление В. Мильчиной.

Обе женщины, чьи имена стоят в названии публикуемого текста, — лица не вымышленные, а вполне реальные. Однако роль, которую они сыграли в жизни автора, французского писателя, мыслителя и политического деятеля Бенжамена Констана де Ребека (1767–1830), оказалась очень разной. Если безвестная дочь пьемонтского капитана Амелия Фабри (1771–1809) занимала мысли Констана не слишком долго, то роман со знаменитой писательницей Жерменой де Сталь, с которой он познакомился в 1794 году и которая стала его любовницей двумя годами позже, длился до 1811 года, несмотря на все мучительные сцены и объяснения и даже несмотря на женитьбу Констана в 1808 году на Шарлотте фон Гарденберг. Впрочем, жизнь с Шарлоттой Констану также скоро надоела, и в 1815 году он страстно влюбился в Жюльетту Рекамье — многолетнюю приятельницу и одновременно соперницу Жермены де Сталь.

Вообще Констан был человек весьма страстный и влюбчивый. Его биограф называет тот период его жизни, на который пришелся эпизод с Амелией, «эпохой, полной самых разнообразных женщин, начиная с неизменной Жермены де Сталь и внезапно возникшей вновь Шарлотты фон Гарденберг и кончая гетерами самой низкой пробы, не говоря уже о бесчисленных потенциальных невестах». Констан и сам отдавал себе отчет в этой своей черте и довольно трезво писал о себе в дневнике: «Что я за глупая тварь! Влюбляю в себя женщин, которых сам не люблю. Затем вдруг любовь налетает на меня как вихрь, и связь, которую я завел лишь скуки ради, переворачивает всю мою жизнь. Пристало ли это человеку умному?» Сознавал он и другое обстоятельство, а именно то, что со времени знакомства с Жерменой де Сталь всякую другую женщину он был обречен воспринимать на фоне Жермены и по контрасту с ней. Так, Шарлотта фон Гарденберг, с которой Констан после недолгого платонического романа в 1793 году вновь повстречался лишь одиннадцать лет спустя, очаровывает его прежде всего тем, что она непохожа на г-жу де Сталь. «Жермена порывиста, эгоистична, поглощена своими собственными делами, — пишет он в

дневнике, — Шарлотта нежна, кротка, скромна и покойна и по причине этого несходства становится мне в тысячу раз дороже. С меня довольно женщины-мужчины, которая безраздельно повелевает мною вот уже десять лет; меня пьянит и чарует привязанность женщины, которая стремится быть только женщиной». Особенно важно здесь слово «кротость»; оно не раз повторяется и в тексте «Амелии и Жермены»: именно это качество, которого была лишена г-жа де Сталь, Констан надеялся найти в потенциальной невесте. Констан долго и безуспешно стремился «освободиться» от тирании Жермены; подобно герою своей повести «Адольф», он пытался признаться ей «не в любви, а в ненависти». Однако связь с Жерменой Констан явно воспринимал как «вечную», поэтому, когда в 1814 году, через три года после их последнего свидания, он вновь увиделся с прежней любовницей в Париже и убедился, что она наконец охладела к нему, он с некоторым изумлением занес в дневник: «Теперь у меня не осталось никакой неопределенности относительно будущего, ибо в ней [Жермене] не осталось и следа чувства» (по-видимому, ему казалось, что «неопределенность» в их отношениях будет длиться бесконечно и у них всегда останется возможность начать все сначала).

Бенжамен Констан вошел в историю литературы (и тем более в сознание русских читателей) как автор одного произведения — повести «Адольф» (1806–1810, изд. 1816). Сам Констан, по всей вероятности, надеялся прославиться совсем другими свершениями: при Наполеоне он был членом Трибуната, в эпоху Реставрации публиковал многочисленные публицистические статьи, проникнутые либеральным духом, и принадлежал к либеральной оппозиции в палате депутатов; в течение многих лет он работал над фундаментальным трудом по «сравнительному религиоведению» — книгой «Об источниках, форме и развитии религии», первый том которой вышел в 1824 году, а последние, пятый и шестой, — посмертно, в 1831-м. Однако если в 1820-е годы у Констана-публициста были в России горячие поклонники (к их числу принадлежал, например, П. А. Вяземский, назвавший его «непреклонным приверженцем всего, что развивает до законных пределов независимость человека»), то современному русскому читателю все эти стороны деятельности Констана известны гораздо меньше. Неизвестна в России и художественная проза Констана (за исключением «Адольфа»). Впрочем, и французы открыли для себя автобиографические произведения Констана довольно поздно: «Моя жизнь», иначе называемая, по цвету переплета рукописи, «Красной тетрадью», впервые

опубликована в 1907 году; «Сесиль» — в 1951 году; «Амелия и Жермена» — в 1952 году. Между тем все эти сочинения не только почти ни в чем не уступают «Адольфу», но позволяют лучше понять некоторые психологические механизмы, управляющие констановской прозой.

Констан принадлежит к тому же типу писателей, что и его не менее (если не более) прославленный современник Шатобриан: это авторы, не любящие и не умеющие «выдумывать» сюжеты и персонажей. Как Шатобриан вложил в своего самого прославленного героя, Рене, очень много черт собственного характера, так и Констан, сочиняя «Адольфа», черпал психологический материал преимущественно из своей души и из своих взаимоотношений с женщинами («Моим пером водило не воображение», — признавался он в дневнике). Сходным образом именно о себе он писал в «Красной тетради» и в «Сесили». С этим обостренным автобиографизмом связано, очевидно, и то обстоятельство, что ни одно из этих произведений (за исключением «Адольфа», да и его Констан отдал в печать после долгих колебаний) не было опубликовано при жизни автора. Дело, по-видимому, не только в том, что себя как политического мыслителя Констан ценил куда выше, но и в чрезмерной откровенности его «художественной» прозы.

Пушкин, процитировав в статье 1830 года «О переводе романа Б. Констана `Адольф'» свои собственные строки из седьмой главы «Евгения Онегина», назвал «Адольфа» одним из «двух или трех романов,

> В которых отразился век,
> И современный человек
> Изображен довольно верно
> С его безнравственной душой,
> Себялюбивой и сухой,
> Мечтаньям преданной безмерно,
> С его озлобленным умом,
> Кипящим в действии пустом», —

и добавил: «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона». Пушкин, однако, вряд ли знал, что к Констану вполне применима и та характеристика, которую он сам в другой заметке («О драмах Байрона») дал английскому писателю: «В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой)». Это сходство Адольфа и «я» автобиографической прозы Констана, общность психологических механизмов, в этой прозе раскрываемых, стали

понятны лишь много лет спустя, когда увидели свет «Красная тетрадь», «Сесиль», «Амелия и Жермена». Конечно, реального Констана — мыслителя, политика, публициста — отличала от его героев возможность действовать, применять свой незаурядный талант в реальной политической и литературной жизни, а не только в анализе собственных отношений с одной или несколькими женщинами. Однако характер Констана давал себя знать и в его общественной деятельности, что не укрылось от внимания проницательных современников.

Историк и дипломат Проспер де Барант писал о Констане: «Политика одушевляла его жизнь, заставляла биться пресыщенное сердце, действовала на него, как азартные игры, которые он по-прежнему любил и в которых по-прежнему нуждался. Он затевал в палате и газетах процессы, дуэли, споры. Благодаря всему этому он не ведал ни пустоты, ни скуки, но вел существование лихорадочное. Впрочем, несмотря на беспокойную жизнь, ум его оставался свободен, независим и погружен в созерцание самого себя. Более скептический, чем когда-либо, — что его не столько успокаивало, сколько мучило, — он по доброй воле ввязывался в самые страстные споры. „Я в ярости! а впрочем, мне это безразлично“ — вот фраза, рисующая его сполна». В этих строках, написанных Барантом через много лет после смерти Констана, можно заподозрить след знакомства с «Адольфом», однако точно так же Барант характеризовал Констана и в письме к жене от 15 мая 1815 года (то есть за год до публикации романа). Констан, говорит Барант, «следуя своей обычной методе, кажется, насмехается над тем делом, которое отстаивает. Он пересказывает статьи из „Монитёра“ и сам же первый над ними хохочет». Это — та самая раздвоенность, безжалостное изображение которой позднейшие исследователи назвали главным достижением «Адольфа» («Б. Констан первый показал в „Адольфе“ раздвоенность человеческой психики, соотношение сознательного и подсознательного, роль подавляемых чувств и разоблачил истинные побуждения человеческих действий»). Констану не было необходимости изучать эту раздвоенность на примере других людей, реальных либо вымышленных; он сам был, по выражению своего биографа, «виртуозом раздвоения. Он постоянно превращал собственную жизнь в зрелище и в предмет анализа для себя самого; постоянно обнажал — при этом не приводя в негодность — пружины своих поступков».

В автобиографической прозе Констана интересовало, по-видимому, вовсе не решение собственно литературных задач (их он решал во второй половине 1800-х годов, когда вместе с г-жой де Сталь пытался привить французской литературе некоторые

черты литературы немецкой, работал над вольным переводом трагедии Шиллера «Валленштейн» и сочинял статью «Некоторые размышления о немецком театре»). Во всяком случае если в «Сесили» есть хотя бы некоторое подобие «литературности» (история откровенно автобиографична, но герои носят вымышленные имена — которые, впрочем, очень легко поддаются расшифровке), то относительно «Амелии и Жермены» современный комментатор П. Дельбуй утверждает определенно и весьма обоснованно: это не художественная проза, написанная постфактум по мотивам собственных переживаний в расчете на публикацию, — это настоящий дневник, где пишущий день за днем анализирует свои реальные сомнения и терзания; сам Констан замечает в тексте «Амелии и Жермены»: «Буду откровенен; ведь я пишу не для публики, а для себя самого», и это, судя по всему, отнюдь не литературный прием. Констану — человеку страстному, но одновременно и весьма рассудочному, — было легче справляться со своими переживаниями, фиксируя их на бумаге (биограф Констана Поль Бастид замечает по поводу склонности своего героя к самоанализу: «Возникает ощущение, что он мог испытывать какие-либо чувства исключительно с пером в руках»). Но получилось так, что, решая свои сугубо личные и «прикладные» задачи (на ком жениться и как мирно расстаться с прежней любовницей), Констан одновременно разрабатывал новое направление психологической прозы, всю оригинальность которого французы оценили лишь через много лет после смерти писателя, уже в XX веке.

№ 1. — 6 января 1803 года

Сердце мое и воображение теперь на распутье; такое случалось со мной уже не раз: я рвал все прежние связи, переносился в совсем новый мир, где от мира покинутого оставались мне лишь кое-какие воспоминания, смутные и скорее печальные, враги, понуждавшие к утомительным объяснениям, но в первую голову — чувство облегчения и твердая уверенность в том, что, переменив жизнь, поступил я совершенно верно. Однако, опрометчивость в моем положении неуместна. Мне тридцать пять лет. Большая часть жизни прожита. Я не могу уже извинять легкомыслие молодостью лет, а главное, не имею более той способности обороняться и той любви к самому себе, которая помогала мне прежде оправдывать себя и жить в свете. Кровь моя еще довольно скоро бежит по венам: однако известная беспечность относительно собственной моей участи и великое недоверие к людям, меня окружающим, сделали привычным состоянием моей души уныние не столько болезненное, сколько бездеятельное. Первая моя забота — сторониться людей докучных; при перемене участи ничего я так не опасаюсь, как скуки. Нынешнее мое положение есть, бесспорно, положение ложное. Однако в нем нахожу я и нечто блестящее. Хотя связь, обрекающая меня на великие бури и отводящая мне роль подчиненную, доставляет мне множество неудобств, явная эта связь для меня выгоднее любых других. Бурное течение несет меня, не требуя никаких действий. Я могу податься назад, но при этом не перестану двигаться вперед; как бы там ни было, грести самому мне не приходится. Порви я эту связь, и все изменится. Мне не придется более сопротивляться вихрю, меня увлекающему, не придется пребывать в тени чужой славы, отвечать за множество осторожных поступков, не мною совершенных, и сносить то недоброжелательство, жертвами которого делаются неизменно не только прославленные женщины, но и их любовники; однако у меня останется гораздо менее связей во Франции, где я хотел бы жить, и я распрощаюсь с тем живым и обширным умом, тем превосходным сердцем, той беспримерной преданностью, какими наслаждаюсь ныне. Взглянем, однако же, в будущее. Я уже давно не люблю Жермену. Живость характера помогает мне, не кривя душой, находить любви замену. Нас связывают узы умственные. Но долго ли это продлится? Сердце мое, воображение, а главное, чувственность нуждаются в любви. Мне необходимо иметь подле себя существо, о котором я мог бы заботиться, которое следовало бы за мной,

которое я мог бы сжимать в объятиях и сделать счастливым; существо безобидное, которое без труда сумело бы переплести свою судьбу с моей, — одним словом, мне необходима женщина, почти незаметная в свете, но достойная моей домашней привязанности и способная доставить мне счастье кроткое, сокровенное и необременительное. Где же сыскать такую? Посредственность сама по себе ничего подобного не сулит. Ум, напротив, грозит следствиями решительно противоположными. Впрочем, продолжим размышления. Жермене потребны слова любви, — слова, которые мне с каждым днем даются все труднее. Мы неизбежно поссоримся и расстанемся. Чем дольше протянется наша связь, тем более старыми, одинокими, недовольными друг другом и беспомощными по отношению к прочим людям окажемся мы под конец. Будущность эта, которая омрачила бы любую связь, вдвойне тягостна в нашем случае. Мы исповедуем одинаковые убеждения. Однако, поскольку характеры наши разнствуют, мы вредим друг другу вместо того, чтобы помогать. Я могу молча сносить деспотизм, но не могу с ним примириться. Она хотела бы примириться, но не может молчать. Вдобавок, повторяю, мне потребна женщина, которую я мог бы сжимать в объятиях, которая ночью доставляла бы мне наслаждение, а днем радовала меня кротостью. Если при этом я не хочу рвать с Жерменой, мне придется взять в любовницы женщину безвестную и стоящую ниже меня: униженность озлобит ее, а необразованность не позволит скрыть досаду; если об этой любовнице узнают, я стану ее стыдиться; если мне удастся спрятать ее от посторонних глаз, она станет меня тяготить; с годами все эти неудобства будут лишь возрастать, и через десять лет я либо распрощаюсь с этой женщиной и останусь в одиночестве, либо сохраню ее и сам сделаюсь униженным, обманутым, несчастным. Я хочу жениться, только это может доставить мне все выгоды, о которых я мечтаю, причинив как можно меньше неудобств. Женившись вдруг, я смогу возвратить себе дружеское расположение Жермены, о любви же меж нами не будет более речи. Женившись в Женеве, я обеспечу себе там естественное пристанище. Женитьба моя изгладит из памяти тех, кто меня знает, воспоминание о разводе, которым мог бы я гордиться, ибо действовал в этом случае предупредительно, мягко, великодушно, но который нетрудно изобразить в черном свете. Быть может, я в этом еще раскаюсь. Но счастлив ли я теперь? Вечно под градом упреков, вечно на виду, ибо вечно подле Жермены, я, однако же, ни единого дня не могу распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению! В двадцать один год я не умел подчинить женщину своей воле. Но

это потому, что я плохо начал. Теперь я сумею это сделать. Пускай я обманусь в своих надеждах, однако же существование мое сделается упорядоченным, мирным, покойным. Я узнаю наконец, избавившись от влияния, которому безраздельно подчиняют меня долгие воспоминания, чего я стою, на что я способен и, главное, есть ли у меня воля. Тогда я пойму, что обязан предпринять и во имя свободы, и во имя собственной славы: Жермена не будет более мешать мне опрометчивостью своих политических убеждений, не будет терзать меня требованиями, которые смущают мой ум и нарушают мои планы. Ей самой это пойдет только на пользу. Она не будет отвечать за убеждения не столь явно выражаемые, но куда более непреклонные, чем ее собственные. Мне нужно жениться. Но на ком?

№ 2. — 8 января

мне сватают Амелию. Больших наслаждений ее любовь, пожалуй, не сулит. Не думаю, чтобы она была умна. У нее нет ни образования, ни привычки к серьезным занятиям; она выросла в женевском свете, где вечера пошлы и заполнены одним лишь хихиканьем. Она чуть забавнее остальных, ибо говорит все, что ей взбредет в голову. Женевские женщины из страха показаться смешными так охотно держатся в тени, так стремятся не выделяться ни в хорошем, ни в плохом, что живость, пусть даже без тонкости, составляет известное преимущество. Но принесет ли живость жены счастье мужу? Одно я знаю наверняка: стоит мне вступить с кем-нибудь в связь, как я начинаю чувствовать себя ответственным за все неприличное, легкомысленное или смешное, что может совершить эта особа, и это причиняет мне ужасные мучения. Какие же мучения сулит мне брак с женщиной, которая воспитана в Женеве, страдает отсутствием вкуса, отличающим всех женевцев, и только и знает, что хохотать в ответ на шутки без соли и смысла? Впрочем, у Амелии красивые глаза и, кажется, довольно здравого смысла; несмотря на ее живой вид и бойкие речи, она, сколько могу судить, наскучила жизнью, которую ведет. Возможно, иные ее фразы и поступки, задевающие меня своим неприличием, объясняются тем, что нынешнее положение для нее тягостно и она ищет развлечений. Как бы там ни было, те, кто полагают, будто я решил на ней жениться, заблуждаются.

№ 3. — 9 января

Вчера на балу я вдоволь наговорился с Амелией. Я не обнаружил ничего, ровным счетом ничего ни в ее голове, ни в ее сердце. Она болтает без умолку, почти все время хихикает или бросает бессвязные фразы, в которые наверняка не вкладывает никакого смысла. Полагаю, она охотно приняла бы объяснение в любви от меня — или от любого другого: однако я убежден, что она не видит решительно никаких различий между мною и всеми теми, с кем имеет дело каждый день. Никогда никто не оценит мой ум так, как Жермена: никто никогда не будет так резко отличать меня от остальных. Но Жермена поглощена делами! Она погружена в них с головой! Она выказывает мужской ум, желая притом, чтобы ее любили как женщину! Может показаться, что, если любовники смотрят одинаково даже на вещи самые незначительные, это укрепляет узы, их связующие. Это неверно. Общность убеждений мешает любви вспыхнуть между ними и утешить их в горестях. Разность же убеждений была бы еще более несносной, из чего следует, что женщине вообще не пристало иметь убеждения.

№ 4. — 15 января

Здесь есть четыре девицы на выданье, все весьма богатые. Три из них очень хорошенькие. Эти последние — родные сестры, они привыкли к жизни в свете, к развлечениям, и я сомневаюсь, что они легко смирились бы с существованием более уединенным, сулящим меньше светской болтовни и больше серьезных и глубоких привязанностей. Они охотно вышли бы замуж, чтобы иметь свой дом и мужа, чтобы царить среди красавиц Парижа или Женевы. Жить в Париже мне не позволяют ни состояние, ни политические убеждения. Жить в Женеве я решительно не способен. Если я женюсь, то лишь ради того, чтобы найти любовь; мне гораздо важнее быть любимым женою, нежели любить ее самому. Сердце мое, характер и чувственность открыты привычке. Итак, мне нужна женщина чувственная, испытывающая влечение ко мне и наделенная характером мягким, кротким. Ума у меня и у самого довольно. Поэтому жене моей необязательно быть умной. Главное, чтобы она не была смешной. Боюсь, что с Амелией это случается, и нередко. В остальном она мне подходит. Состояние ее всего на треть меньше моего, так что женившись, я не стану беднее. Она совершенно независима. Она уже не так молода и должна понимать, что ей грозит участь старой девы. Она будет счастлива, если кто-то ее полюбит. Она последует за мной в Париж или в имение близ Парижа. Но что, в сущности, она собою представляет? Сегодня она давала бал. Ей нездоровилось; выглядела она очень мило. Однако я убежден, что в ней много легкомыслия. Она с таким восторгом толковала о своем прошлогоднем бале на 150 персон! Поначалу брак будет ей приятен, ибо в новинку, да вдобавок избавит ее от положения едва ли не смешного, в котором пребывает она ныне, но не пожалеет ли она вскорости о жизни, состоящей из ужинов и вечеров, болтовни и вздора? Она, без сомнения, слегка увлечена мною, но кто я для нее: источник нежданной надежды? предмет нежной привязанности? Пожалуй, она и сама этого не знает. Вдобавок она то и дело произносит неприличные фразы и отпускает несмешные шутки, она ни в чем не знает меры, она привыкла высказываться по каждому поводу наугад и наобум! А какой глумливый тон невольно усваивают мужчины, говоря с ней! Разумеется, отчасти виной тому ее провинциальное воспитание, ее двусмысленное положение, ее одиночество. Речи ее вызывают смех, ибо смешно слышать, как языком десятилетнего ребенка изъясняется особа более чем взрослая, ей, однако, этот смех приятен. Кто же поручится мне, что в этих речах — не вся

Амелия, что в ее душе есть место для страсти, место для любви или потребность в ней, кто поручится, что в браке она не станет вести жизнь, во всем подобную нынешней? В этом случае, женившись на ней, я совершу большую глупость, ибо, принудив ее к замужеству и связав свою жизнь с существом ветреным, скучающим, непостоянным, болтливым, я стану еще более несчастлив, еще более одинок, чем ныне.

№ 5. — 19 января

В обществе по-прежнему идут толки о моей скорой свадьбе с Амелией. Она сама начинает этому верить. Нынче вечером она говорила со мной не без нежности. В речах ее сквозили те намеки, какие внушает женщинам любовь. Когда дело доходит до любви, почти все они умны на свой лад. До любви! — но есть ли в Амелии хоть капля любви? Не движет ли ею простое удовольствие от того, что на нее обратили внимание, — удовольствие, мало ей знакомое? Не воодушевляет ли ее исключительно надежда отыскать мужа? Если бы кто-то другой стал искать ее привязанности, не принялась бы она делить между ним и мною и свое кокетство, и свои симпатии? Она была одета весьма мило: розовый цвет ей к лицу. Вне всякого сомнения, я не влюблен в нее: однако чувства мои такого рода, что все хорошее в ней меня радует, а все дурное печалит. Найди я в ней хоть немного здравого смысла, я бы привязался к ней; найди я в ней хоть немного неподдельной любви ко мне, я бы более не мучился сомнениями. Я с тревогой навожу посторонних на разговор о ней; до сего дня я еще не услышал ничего дурного, но, правду сказать, ни разу не услышал и ни одной похвалы.

№ 6. — 20 января

Вечером я был на большом балу и, как ни странно, более всего опасался, как бы меня не заподозрили в привязанности к Амелии. Между тем я отвоевал право заниматься ею. Жермена, по-прежнему поглощенная своим ирландцем, дает мне нынче полную свободу. Мне нечего было сказать Амелии. Она говорила мне ровно те же самые глупости, что и другим. Один-единственный раз она повела себя более или менее естественно, когда попыталась устроить так, что мы остались с нею наедине. Однако попытка не удалась, и она как ни в чем не бывало завела разговор с другим. Тем не менее я продолжал думать о ней, хотя не был доволен ни ею, ни самим собой.

№ 7. — 22 января

Нынче вечером я видел Амелию лишь мельком. Я пришел к ней поздно. Она встретила меня с большим оживлением, — впрочем, это ее вечное пошлое оживление, которое выражается в голосе и манерах, но не имеет ни малейшего отношения к образу мыслей. Я не в силах понять, такая ли она на самом деле и отдает ли она мне предпочтение перед остальными. Возможно, что, не найдя никого другого, я, если пожелаю, женюсь на ней, но жениться, не зная наверняка, любит ли она меня по-настоящему, даст ли мне эта любовь власть над нею, сумею ли я совладать с ее болтливостью, увидит ли она во мне своего наставника, свою опору, существо, во всем ее превосходящее, — нет, это не для меня.

№ 8. — 23 января

Нынче я играл с Амелией в карты. Она была вне себя от радости и очень рассеянна во время игры. Однако нет сомнения, что надежда выйти замуж за любого, кто посватается, привела бы ее в точно такое же радостное возбуждение. Эта шумная радость во многих отношениях неудобна: Амелия произносит сотню слов в минуту, не думая о том, что говорит, и не зная меры, причем из всех, кто ее слушает, я, хотя и не подаю виду, слушаю ее с самым большим неудовольствием. Впрочем, мне пришли в голову два соображения. Во-первых, ею будет нетрудно управлять. У нее душа нараспашку. Она сирота, уже давно живет одна, воспитанием ее заниматься было некому. Она сама себя воспитала в духе того общества, в каком вращается, но у нее меньше осмотрительности, чем у других, потому что других воспитывали родители. По некоторым ее фразам я понял, что она ищет наставника, но никому нет до нее дела; хуже того, ее нарочно заставляют говорить вздор: чем больше глупостей слетает с ее уст, тем она забавнее. Во-вторых, жена невоздержанная и опрометчивая подходит мне гораздо больше, чем такая чопорная, как Виктория. Чопорная стала бы упрямиться, настаивать на своем, искать помощи у посторонних. Амелия же поневоле покорится человеку более сдержанному, чем она сама, который, видя в ней существо низшее, будет обращаться с нею нежно, но при этом смотреть сверху вниз, не вызывая ни у кого нареканий.

№ 9. — 24 января

Случай или инстинкт привели меня сегодня в дом, где находилась Амелия. Она была дурно одета и выглядела почти уродливой. Я не учитывал прежде этого обстоятельства, а ведь оно принадлежит к числу постоянных неудобств семейной жизни. Впрочем, говорила она сегодня лучше, чем обычно. Речь шла об английских нравах и английской семейной жизни, о порабощении женщин и пр. В разговоре этом выказала она кротость, рассудительность и покорство. Быть может, она притворялась? В таком случае, она проницательна. А если дело не в проницательности? В таком случае она прямодушна.

№ 10. — 25 января

Сегодня Амелия мне совсем не понравилась. Она явственно желала меня пленить. Не знаю, в чем тут дело: в том ли, что это желание увеличило ее ветреность, или в том, что шумный бал вывел ее из равновесия, но никогда еще она не вела себя так неприлично; никогда еще наши юные фаты не разговаривали с нею более насмешливо, никогда еще она не отвечала им более непристойно. Что же касается сущности ее характера — если у нее вообще есть характер, — то на этот счет мне ничего не известно. Я не знаю способа увидеть ее наедине. Я не могу заниматься ею одной — это значило бы выставить себя напоказ и дать повод для сцен Жермене, которая и без того уже начинает тревожиться; во время же наших коротких разговоров в свете Амелия еще ни разу не сказала мне ничего, что имело бы какой-либо смысл, преследовало какую-либо цель, возымело какое-либо действие. Впрочем, многим ли лучше другие женщины? Быть может, их речи не так неприличны, но уж, конечно, не более умны. Амелия чтит приличия меньше, чем другие женщины, но ведет себя ничуть не более ветрено — а возможно, и менее, — чем они. Однако я чувствую, что возненавижу женщину, за которую буду нести ответственность, если она не заставит себя уважать — пускай не за достоинства, но хотя бы за недостатки.

№ 11. — 26 января

Я видел ее лишь мельком. В карты мы не играли. Она уехала внезапно. Что ею двигало — досада и дурное настроение или просто усталость и желание спать? Я всегда вспоминаю в таких случаях историю про пирог. Один мужчина выказывал предпочтение некоей женщине, но не думал, что она принимает это всерьез. Затем он заметил, что ошибается, и прекратил ухаживание. Несколько дней спустя он встретил ее в свете; она была печальна, бледна и выглядела больной. Он осведомился о ее здоровье; она отвечала кротко и томно. Он предложил ей руку и сердце и женился на ней. На следующий день после свадьбы, уверенный в нежных чувствах молодой жены, он усадил ее к себе на колени и захотел услышать рассказ о давешних ее страданиях. «В тот день вы были так печальны. Нынче вы выглядите куда лучше, куда веселее». — «Да, — отвечала она, — я тогда съела за обедом пирог, от которого у меня началась ужасная резь в животе». А мужчина был уже женат. Тем не менее я не могу не признаться самому себе, что постоянно думаю об Амелии: на расстоянии я люблю ее куда сильнее, чем вблизи. В ее отсутствие воображение мое исключает из ее облика то, что ее портит, прибавляет то, чего ей недостает, угадывает то, что ей бы подошло. Я часто думал об этом: любовное чувство не имеет ничего общего с тем существом, на кого оно направлено. Любовь — потребность сердца, которая посещает его реже, чем потребность в чувственных наслаждениях, но тем же манером: и точно так же, как чувственность заставляет мужчину искать женщину — не важно какую, — с которой он мог бы утолить свою страсть, так и сердце мужчины ищет особу, к которой мог бы он привязаться, а уж затем воображение преувеличивает ее кротость, красоту или какое-либо иное достоинство. Во мне эту сердечную потребность подкрепляет потребность еще более настоятельная: я нуждаюсь в покое. Восемь лет жизни с Жерменой были непрекращающейся грозой — или, вернее, целым нагромождением гроз. Жермена — это и политика, и требование такой любви, какая бывает только в восемнадцать лет, и стремление к светской жизни, и стремление к славе, и тоска, как в пустыне, и нужда в уважении, и желание блистать, — чувства, входящие друг с другом в противоречие и страшно осложняющие жизнь. Из Жермены вышел бы десяток, а то и дюжина выдающихся мужчин. Ум ее и сердце исполнены величайших достоинств, однако она изводит даже друзей; какая же участь ждет человека, с которым она свяжет свою жизнь? Ведь она не

желает жить одна, но при этом желает жить так, как ей заблагорассудится. Все, кто с ней знакомы, все, кто имеют с нею дело, испытывают в большей или меньшей степени те же ощущения, что и я. Ее отец, ее подруги, ее супруг — все постоянно стремились провести черту между ее жизнью и своей: я же, с тех пор как она покорила меня, не смел расстаться с ней из страха перед бурными проявлениями ее горя, но не проходило и дня, чтобы я не проклинал и ее, и самого себя. Амелия — едва ли не полная противоположность Жермене. Я стою настолько выше ее, что не могу смотреть на нее иначе как на забаву. Жизнь с нею будет для меня легка как перышко. Если только я обнаружу в ее душе какое-либо чувство, помимо внимания девушки на выданье к возможному жениху, я, пожалуй, дам волю своему воображению, которое охотно ее приукрасит. Впрочем, не стоит терять осторожности. Что если за этой бездумной веселостью скрывается упрямая и несговорчивая посредственность, если сердце ее сухо, а привычка к провинциальной жизни неодолима, если ее кротость, а подчас и нежность проистекают из одного лишь желания подольститься к будущему мужу, — одним словом, нужно непременно увидеть ее наедине, и не единожды, нужно поговорить с ней и узнать наконец, есть ли в этом существе что-либо настоящее и серьезное?

№ 12. — 27 января

Нынче вечером я ужинал с Амелией; я сидел с нею рядом, и мне удалось ее разговорить. Должен решительно заявить, что за целый час я не обнаружил в ее речах ни единого проблеска мыслей или чувств. Быть может, отчасти в этом виноват я сам. Боясь, как бы склонность моя к Амелии не сделалась предметом всеобщего внимания, я почти всегда говорю с нею полушутя, так что связные впечатления не успевают зародиться в ее уме. Сделаться всеобщим посмешищем было бы для меня несносно. Однако, будь у нее хоть капля ума и здравого смысла, это бы хоть в чем-нибудь да проявилось. Впрочем, скажу опять: жизнь в Женеве испортила ее; она так и осталась десятилетней девочкой, которую взрослые мужчины ради собственной забавы заставляют говорить все, что ей взбредет в голову. Человек, к которому она ощутила бы сердечную склонность, сумел бы, пожалуй, исправить все это, дав ей подобающее воспитание. Но питает ли она ко мне эту склонность? Я вижу, что она охотно вышла бы за меня замуж, что она выйдет за меня, что ей хочется за меня выйти — но, вполне вероятно, только потому, что ей надоело девичество.

№ 13. — 29 января

Нынче вечером я говорил с Амелией около получаса и остался доволен ею больше, чем обычно; отчего? — оттого что она не сказала ничего неприличного, а когда она не приводит меня в замешательство своими речами и произносит только самые обычные фразы, я испытываю чувство благодарности. Странно, что при этом я ощущаю потребность видеть ее.

№ 14. — 30 января

Увиделся с Амелией очень поздно: я играл, проигрался и был склонен к нежностям. Она явно обрадовалась мне; должно быть, она рассказала одной из своих подруг о том, что увлеклась мною, или о своих надеждах на то, что я увлекусь ею. Мы сели за карточный стол: она была весела и рассеянна, по обыкновению. Между нами установилось то согласие, какое существует между людьми, которые отличают друг друга и знают об этом. Но от этого до сердечного влечения еще очень далеко.

№ 15. — 1 февраля

Очевидно, что Амелия меня отличает, что она ищет случай мне в этом признаться, что ей досадно, если мы не видимся. Однако я до сих пор не слышал от нее ни единого слова, в котором сквозило бы что-нибудь, кроме желания выйти замуж, не замечал ни единого проявления чувства, которое относилось бы непосредственно ко мне. Нынче вечером она очень веселилась и произнесла несколько забавных фраз; впрочем, все это по-прежнему речи десятилетней девочки. Не питай я к ней привязанности, я, быть может, судил бы не так строго. Множество женщин, слывущих умными, говорят вещи столь же несуразные. А те, которые их не говорят, страдают другими недостатками, для меня куда более обременительными. Но все-таки Амелия — существо по меньшей мере заурядное; недаром никто о ней не говорит, никто не повторяет ее слов; она то и дело выставляет себя напоказ, а замечают других. Все мои друзья находят мое увлечение ею смешным, но избавляют меня от объяснений на сей счет. Если что и заставит меня сделать выбор в пользу Амелии, так это Жермена: с каждым днем она становится все беспокойнее, все раздражительнее, все требовательнее.

№ 16. — 2 февраля

Я как в воду глядел. Что за сцену устроила мне Жермена! Я, разумеется, признаю все ее достоинства, но дольше так жить невозможно: как это ни печально, я убежден, что связь между нами, по крайней мере связь любовная, наверняка оборвется, — тем больше оснований оборвать ее посредством моей женитьбы. Всякая другая форма разрыва показалась бы неблагодарностью: если же я женюсь — не важно, по любви или по расчету, — это меня извинит. Вдобавок, сколько бы я ни стремился отвоевать себе независимость, я смогу добиться этого лишь с помощью сцен и лишь на время; я соглашусь остаться еще на один день, после на два, а потом из этих дней составится целая жизнь. Я страстно желаю, чтобы с Жерменой меня связывали узы дружбы, а не любви; произойдет же это лишь в том случае, если, покончив с любовью, мы сблизимся благодаря родству наших умов и общности воспоминаний. Я женюсь на Амелии. Правда, сегодня мне сказали, что она своенравна, капризна, вспыльчива и охотно прибегает к такому испытанному средству, как нервный припадок. Вполне возможно. В свете она кротка, весела, послушна, но может оказаться, что так бывает не всегда. Постараюсь понаблюдать за ней. Впрочем, как бы там ни было, поскольку всего мне увидеть не дано, следует положить за правило, что, взяв ее в жены, я должен буду добиться от нее беспрекословного повиновения. Завтра я набросаю план действий.

№ 17. — 3 февраля

Я написал вчера, что хочу жениться, что хочу жениться на Амелии и что хочу сначала набросать план действий и избрать наилучший способ его исполнить. Припомню сначала все, что я заметил в Амелии нынче. По обыкновению пересыпая свою речь заурядными шутками и пустыми словами, она говорила со мной о своем одиночестве, о печали, какую она испытывает в глубине души, о том, как ей досадно не иметь никаких обязанностей, об ощущении бесполезности собственной жизни. Все это прямо вело к замужеству, но я не расслышал ничего, что касалось бы меня лично, что относилось бы ко мне больше, чем к любому другому. Она очень ловко — не знаю, нарочно или оттого, что в сущности ничего подобного и не чувствует, — избегает всего, в чем я мог бы увидеть понимание и согласие. В результате сегодня я еще дальше от цели, чем две недели назад, когда во время игры в вист она сказала мне: «Если мы будем вместе, счастье нам улыбнется». Правда, я и сам не тороплю события, ибо не желаю никаких объяснений прежде отъезда Жермены. Ясно одно: если она не будет питать ко мне страстной любви, я не смогу подчинить ее своей власти. Если же я не смогу подчинить ее своей власти, я уподоблюсь всем женевским мужьям, а этого я не хочу. Значит, нужно вырвать у нее признание: завтра у меня появится для этого прекрасный повод. Если ее не будет у г-жи Пикте, значит, она предпочла пойти в театр или решила меня подразнить. Тогда в субботу я к ней не пойду, а в воскресенье не стану с ней заговаривать. На несколько дней я решительно переменю свое с нею обращение. Если же она будет у г-жи Пикте, я спрошу, сделала ли она это ради меня, и откроюсь ей, отложив все прочее. Вернемся, однако, к общему плану. Я хочу, чтобы Амелия стала моей, но моей на моих же условиях, чтобы она сделалась частью меня самого и я мог распоряжаться ею по собственному усмотрению. Для этого я должен влюбить ее в себя, показать ей, что в самом деле хочу на ней жениться, и открыть свои условия: жизнь в моих поместьях, английские нравы, покорность. Высказав все это, дать ей созреть, а самому остыть. Все это завтра, если она будет у г-жи Пикте, а Жермена, нет. С другой стороны, возможно, лучше было бы оставить все как есть до отъезда Жермены, затем написать Амелии письмо, в котором объясниться как бы против воли и, предложив ей руку и сердце, в тоне наполовину нежном, наполовину суровом выставить мои условия. Письмо, например, такое:

«Я люблю Вас. Вы не могли этого не заметить. Три месяца я

боролся с Вашим неизъяснимым очарованием. Боролся изо всех сил. Обладая независимым состоянием, независимым положением, независимым характером, я намеревался и впредь сохранять независимость как ради моих убеждений, так и ради уз, связующих меня с Францией. Но старания мои были тщетны, и я вынужден признаться, что покорен Вами. Видеть Вас сделалось для меня желанием, которое я не могу превозмочь. Не видеть Вас сделалось мукой, которую я не могу перенести. Итак, я решился искать счастья видеть Вас ежечасно, ежеминутно. Однако Ваша власть надо мной, поработив мое сердце, не лишила меня разума, и на тот случай, если чувства мои Вас тронут, я обязан описать вам мое положение, характер и взгляд на супружество. Я скорее соглашусь лишиться Вас, нежели Вас обмануть, пускай даже невольно. Из тех непродолжительных бесед, какие имели мы с Вами, Вы могли вынести убеждение, что я полагаю независимость женщин пагубною для их счастья, равно как и для нашего. На сей счет я решительно англичанин. Впрочем, англичане стоят за близость лишь в отношениях физических, я же притязаю также на сердце и ум избранницы. Узы самые тесные должны связывать обоих супругов во всякий час без изъятия. Жене отведена в общем бытии роль существа кроткого, сговорчивого, приветливого, дарующего утешение и покой, — существа уже по одному этому подчиненного. Всякое разделение занятий и планов, а следственно, всякая независимость женщины открывает доступ для развлечений, привязанностей и мнений посторонних и этим одним все губит. Женщин, с которыми такая связь — связь постоянная, безраздельная — возможна, на свете немного. Быть может, Вы одна такая и есть. Сколько могу надеяться, Вы достойны того, чтобы Вас направляли или, говоря иначе, наставляли ради Вашего счастья и моего. Вы способны сделаться в тысячу раз лучше. До сей поры Вас ни разу не направлял человек, глубоко к Вам привязанный. Знакомцы Ваши забавлялись живыми и веселыми Вашими речами, а об воспитании ума Вашего и суждений не заботились. Оттого разговор Ваш всегда оживлен, нередко остер, подчас неприличен. Всем, что есть в Вас превосходного и естественного, обязаны Вы себе самой; всем, без чего могли бы Вы обойтись, обязаны ветрености, усвоенной в свете, и одиночеству сердца. Не думаю, что ошибусь, сказавши, что дружеская рука, действуя мягко и осторожно, превратила бы Вас в существо, исполненное прелестей и достоинств всякого рода. Вот что желал бы я предпринять, вот чему желал бы посвятить свою жизнь. Если, говоря о том, чего ныне Вам недостает, оскорбляю я Ваше самолюбие, следственно, дурно Вас знаю. В таком случае письмо мое должно Вам сжечь, а

меня отвергнуть. Положение мое располагает и даже вынуждает к супружескому союзу теснейшему и исключительному. Имения и дела требуют присутствия моего во Франции, а возможно, и в деревне близ Парижа. Деревенская жизнь, говорите Вы, Вам не по нраву. Смею предположить, что Вы в деревне, в имении, Вам самой принадлежащем, подолгу никогда не живали. Проводили, должно быть, несколько дней у светских знакомых без дела, без привязанности, мучаясь непривычной обстановкой и праздным времяпрепровождением, вспоминая о жизни бурной и оживленной и о ней мечтая. Можете ли Вы судить о том, какое действие произведут на Вас чувство всеобъемлющее, каждодневные занятия, жизнь более основательная, любовь, материнство и природа? Итак, мы поселимся в деревне близ Парижа, а в столицу станем ездить вместе за развлечениями, поселимся вдали от света, чтобы не видеть непрошеных гостей, не слышать городского шума. Там поведем мы жизнь, посвященную любви, прерывать же наше уединение станем лишь ради друзей. Впрочем, следует мне объясниться подробнее насчет жизни супружеской. Самое важное в браке — первые шаги. Тут муж узнаёт, каков характер жены, а жена — мужа, тут они сходятся нравом или расходятся, и от этих первых сношений все дальнейшее зависит. Для первых этих шагов посторонние взгляды гибельны. Чужие люди вмешиваются и сулят поддержку, на которую рассчитывать нет резона. Вместо того чтобы думать о себе и о существе, с которым связали они свою жизнь, начинают супруги думать о том, что скажут о них посторонние. Вместо того чтобы основать счастье свое на привязанностях семейственных, основывают его на вещах ничтожных, мелочных, которые разъединяют сердца и иссушают души. Чтобы нечто подобное не приключилось с нами, предложу я Вам первые полгода совместной жизни провести в деревне в полном уединении. Полгода учебы — не так уж много для устройства целой жизни. Я хотел бы, чтобы с той минуты, как Вы сделаетесь моей женой, мы остались одни в целом свете. Через полгода узнаем мы друг друга в совершенстве и избегнем величайшей опасности, какая грозит браку, — разговоров с друзьями о семейных наших неурядицах. Мы поймем, суждено ли нам испытать первое блаженство на земле, суждено ли наслаждаться обществом друг друга, или же обречены мы жить, как все, призывая на помощь светские радости и не притязая на то, чтобы от прочих отличаться. Впрочем, как бы там ни было, за нами останется великое преимущество: мы научимся друг друга понимать и беречь, из достоинств наших извлекать выгоду, а недостаткам не давать воли; если в обычных браках опыты и открытия нелестные и безрадостные совершаются

в присутствии хотя бы нескольких друзей, мы свои опыты произведем с глазу на глаз и мнение наше о самих себе и о дальнейшем нашем поведении определим раз и навсегда. Говорю так долго о несчастливом исходе лишь потому, что не смею льстить себя надеждой на счастливый. Дай я волю своему воображению и распиши себе в красках то блаженство, какое, полагаю, сулит мне супружеская жизнь с Вами, представь я Вас такой, какой, полагаю, вы сделаетесь, у меня недостанет сил покоряться строгим правилам и жестоким условиям. Я примусь искать Вашей руки любой ценой, скрыв от Вас, что, хотя для счастья необходимо мне составить счастье другого существа, характер мой показаться может странным: свет, шум, волнение утомляют меня, мне потребны покой, уединение, жизнь упорядоченная. Характер этот даст себя знать, и Вы сочтете, что я Вас обманул, меж тем как я всего лишь люблю Вас чересчур сильно. Я признался Вам в этом в начале письма. Я уступаю власти, какую Вы забрали надо мной, неодолимому желанию Вас видеть, но разум подсказывает мне, что необходимо дать Вам самой решить, могу ли я сделать Вас счастливой, необходимо предоставить Вам оружие, которое обернете Вы против меня, если не придутся Вам по нраву ни характер мой — а он, пусть и преображенный любовью, не переменится, — ни мнение мое о месте, подобающем женщине, ни планы жизни в супружестве. Об обстоятельствах внешних скажу всего два слова. У меня немногим более 10 000 ливров годового дохода. Наследство от нескольких родственников может это состояние умножить. 10 000 ливров недостанет для жизни в городе, но сего дохода довольно для жизни в деревне, о которой я мечтаю. Не знаю, на сколько приданое Ваше увеличит общее наше состояние, но будь оно способно переменить что-либо в тех семейственных отношениях, что кажутся мне основанием счастья в браке, увидел бы я в нем скорее зло, нежели добро, и охотно принял все меры, которые, доказавши Вам, сколь малое значение придаю я Вашим деньгам, не позволили бы родиться меж нами тому различию интересов и той независимости, что кажутся мне противуестественными и гибельными. Я пишу Вам откровенно — пожалуй, даже чересчур откровенно: иначе не сладить бы мне с желанием говорить Вам лишь то, что могло бы доставить Вам удовольствие. Я убежден, что редкая женщина внушает мужчине чувство, какое внушили мне Вы. Я убежден также, что редкий мужчина выражает свое чувство более рассудительно и языком более беспристрастным. Я люблю Вас такой, какая Вы есть, но еще сильнее — такой, какой, полагаю, могли бы Вы стать. Я убежден, что нет в жизни большего счастья, чем посвятить себя счастью другого человека. Но я

убежден также, что составить счастье другого человека можно лишь будучи любимым им глубоко и безраздельно, лишь сделавшись единственным предметом его помыслов. Любовь жены к мужу в браке есть вещь еще более необходимая, нежели любовь мужа к жене, ибо так уж заведено, что женщина — существо слабое и зависимое, зависимость же ее может обернуться счастьем, лишь если она полна любви. Итак, я не говорю Вам: выходите за меня, ибо я Вас люблю; я говорю: выходите за меня, если Вы меня любите. Если же Вы не любите меня так сильно, чтобы желать посвятить жизнь мне одному, откажите мне, ибо для чувств посредственных я не гожусь. Не знаю, что для меня хуже: сделать Вас несчастной или потерять навсегда; однако я выбрал бы последнее несчастье, ибо оно коснулось бы лишь меня одного. Полагаю, что письмо мое, какое бы решение Вы ни приняли, должно остаться нашей с Вами тайной. Не стоит делать нас с Вами поживой женевских сплетников. Если Вы меня не отвергнете, позвольте мне увидеться с Вами наедине. Ведь в письме всего не опишешь. Если же Вы мне откажете, я вдали от Вас буду всем сердцем желать Вам счастья».

№ 18. — 5 февраля

Еще относительно Амелии: сначала следует понять, хочу я жить в Париже или нет. Если хочу, то, вне всякого сомнения, не смогу это исполнить, женившись на ней; на это у меня не достанет средств. Если же не хочу, тогда брак с ней поможет мне устроить в деревне жизнь основательную и приятную. Очевидно, что в Париже я надолго не задержусь. Даже для карьеры политической куда удобнее обитать в собственном имении — завязать сношения с соседями, сделаться помещиком, живущим на своей земле, а не слоняться в течение десяти лет по Парижу, ничего не делая, изнуряя зрение и здоровье и — отчасти по собственной вине, а отчасти по вине Жермены — производя впечатление то ли искателя приключений, то ли человека, который мечтает наделать побольше шума. Покойная жизнь предпочтительна при любой власти. Друг Жермены при любой власти будет слыть человеком беспокойным и беспорядочным. Неустанные хлопоты могут в конце концов доставить ему должность, но лишь такую, на которой он долго не удержится и которая не принесет ему уважения окружающих. Положение Амелии удобно для меня во многих отношениях. Возможно, она лучше, чем кажется, но уж наверняка не хуже; меж тем мне она подходит именно такой, какой кажется. Я женюсь на ней, не питая иллюзий, готовый к разговорам по большей части заурядным, к скуке, какую по временам будем мы навевать друг на друга; главное — следовать с нею правилу очень простому, как-то: быть неизменно выше ее умом и характером, присутствием духа и твердостью воли. Ясно, что одиночество пугает ее больше, нежели расставание с Женевой и переезд в деревню. Ясно, что, если посулить ей возможность раз в два-три года наведываться в Женеву и часто бывать в Париже, она ответит мне согласием, и притом с большой охотой. Трудность в том, как заключить этот брак, не всполошив, с одной стороны, Жермену и ее друзей, с другой — кое-кого из моих врагов. Как бы ветрена ни была Амелия, как бы страстно она ни хотела замуж, ей недостает привлекательности. Она чересчур осмотрительна: все время думает о замужестве, но довольно ловко ускользает от любого разговора, касающегося лично до меня. Я лучше пойму, чего мне от нее ожидать, после отъезда Жермены, когда буду меньше бояться пересудов: покамест, то ли потому, что такова ее натура, то ли потому, что ее настроили против меня, она ни на шаг не отходит от избранной линии. Хорошо бы ее увезти: тогда она больше бы от меня зависела и мне было бы легче выставить ей

свои условия. Но она совершенно свободна, ничто не мешает ей мне ответить; в таком случае чем объяснить отъезд прежде венчания? Боязнью сплетен и пересудов? Вчера она согласилась со мною в том, что пересуды отвратительны, однако из этого никак не следует, что ради того, чтобы их избежать, она готова уехать из дома, не сказавшись друзьям, и обвенчаться вдали от Женевы. Я не могу признаться ей ни в одном из своих истинных побуждений. Не могу сказать ей, что, поскольку она не красавица, все сочтут, что я женюсь на ней из-за денег, и рано или поздно дадут ей это понять, а такие намеки причиняют боль. Не могу сказать, что боюсь Жермену и ее друзей, она ответит мне на это, что, следственно, я люблю не ее, а Жермену и что странно человеку не иметь собственной воли. Наконец, не могу сказать, что, поскольку она часто выглядит смешной, я, остановив на ней свой выбор, не смогу бывать с нею в свете, ибо насмешек над своей избранницей не выдержу. Пренебрегши всеми этими обстоятельствами, я окажу самому себе дурную услугу. Во-первых, природный мой характер таков, что, если меня заподозрят в неблагородных расчетах, я непременно захочу доказать обратное и соглашусь на то, чтобы Амелия самостоятельно распоряжалась своим состоянием, а это противоречит всем моим видам на жизнь и взглядам на брак. Я скорее возьму за себя женщину без состояния, нежели соглашусь жениться на женщине богатой и позволить ей сохранить независимость в браке. Во-вторых, мне придется вступить в жестокую борьбу с Жерменой и ее друзьями, а это приведет к разрыву, которого я не желаю. Наконец, в-третьих, я не знаю, смогу ли я, после того как все признают меня за любовника Амелии, снести ее неприличное поведение в свете; между тем начни я ее воспитывать, не имея на это права, я прослыву жестоким и странным. Что в итоге? Лучше всего уговорить Амелию уехать со мной и обвенчаться вдали от Женевы, и я все-таки попробую это сделать. Если не получится, тогда следует дождаться, чтобы она привязалась ко мне как можно сильнее, а затем, сославшись на важные дела и пообещав вернуться, уехать во Францию и найти способ вынудить ее приехать ко мне — не важно куда, — чтобы обвенчаться. Так мы, по крайней мере, вырвемся из Женевы.

NB. Письмо из № 17 никуда не годится: чересчур романическое и страстное. Если решусь на последний способ, хороший предлог — болезнь моего отца; другой предлог, чтобы заставить ее приехать, — несчастный случай, якобы приключившийся со мной в дороге.

№ 19. — Тот же день

Всего чрезвычайного следует избегать. Поэтому, все обдумав, я избираю способ действий самый натуральный. После отъезда Жермены говорю с Амелией начистоту. Добиваюсь ее согласия, объясняю, что из боязни пересудов надобно держать все дело в тайне, и пытаюсь втолковать ей, что до моего отъезда мы должны связать друг друга обязательствами. Исчисляю ей свое состояние, показываю, как оно изменится в связи с женитьбой, и, если не удастся добиться, чтобы она первой заговорила о помолвке, предлагаю это сам. После помолвки уезжаю в Эрбаж; пишу Камбасересу письмо, в котором сообщаю о желании полностью устраниться от жизни политической и обосноваться в собственных владениях с женщиной, на которой намерен жениться; прибавляю, что должен быть уверен в возможности обеспечить этой женщине покойную жизнь, если же уверенности этой не получу, то откажусь от всех своих планов и покину Францию, однако же надеюсь, что добровольно данное честное слово поможет мне обрести то единственное, чего я домогаюсь, а именно покой. Получив от Камбасереса ответ — а равно и не получив его — и покончив дела с Фурко, избираю местом жительства Эрбаж или другое имение, а затем возвращаюсь сыграть свадьбу с Амелией.

№ 20. — 8 февраля

Последние три дня ничего не записывал. Тем временем имел ужасную сцену с Жерменой. Я не сдержался и высказал ей многое. Возвратился к ней назавтра, и теперь мы вновь в прежнем положении. Лучше Жермены нет никого в целом свете, однако в ней такая жажда деятельности и такая бездна скорби, что близ нее счастье мне решительно не суждено. С другой стороны, Амелия ровно ничего собою не представляет, ума же у нее недостает даже на то, чтобы увлечься мною. Впрочем, я не отказываюсь от своих намерений насчет Амелии, с условием, однако же, что буду видеть в ней всего лишь средство возвратиться к жизни простой и обыденной, которая позволит мне, обретя свободу, начать все сначала. Посмотрим правде в глаза. Если я не женюсь, то в глазах публики навечно останусь любовником Жермены, и не более; я вечно буду отвечать за ее опрометчивые шаги, вечно буду разделять ее горести. Начав искать в женщине нечто большее, чем могу я найти в Амелии, принужден буду я отказаться от многих преимуществ. Женитьба на Амелии позволит мне и в супружестве не сделаться беднее: положение и характер Амелии таковы, что, не будучи связанной тесными узами ни с одним существом в мире и не пользуясь уважением в свете, она будет зависеть от меня более, нежели женщина, у которой живы родители и которая умеет снискать приязнь окружающих. Разумеется, я не стану ее притеснять: причиняя боль ближним, пусть даже всецело от нас зависящим, мы ничего не выигрываем. Однако с Амелией я сумею как нельзя лучше исполнить заветное мое желание — быть женатым в глазах света и, однако же, вольным распоряжаться собой как мне вздумается. Головка у нее пустая, следственно, ни на решения мои, ни на мою жизнь не окажет она никогда ни малейшего влияния.

№ 21. — 19 февраля

Снова долго не писал. Некоторое время не видел Амелию и решил, что она меня избегает, решил, что ей посоветовали меня избегать, решил, что она желает вынудить меня признаться в намерениях на ее счет. Ничего подобного. Амелия жила-поживала, даже и не помышляя обо мне, и то ли оттого, что наносила визиты, то ли оттого, что занималась родственниками, то ли еще по какой-либо причине совершенно спокойно провела четыре дня, не видясь со мной. Ей и в голову не пришло высказать мне по этому поводу хоть малейшее огорчение. Теперь я твердо знаю, что совершенная глупость служит женщине надежнейшей охраной. До тех пор пока я не подойду к Амелии в упор и не крикну: «Я в вас влюблен!», она не поймет меня и будет полагать, что все мои разговоры с нею — не более чем способ убивать время. У нее ум страдает тем же изъяном, каким у иных страдает зрение: она не видит того, что происходит подле нее; заметить она способна лишь то, что у нее прямо перед глазами. Нелепость заключается в том, что я в эти четыре дня всерьез мучился. Воображение мое разыгралось, и, если бы не моя превосходная система бездействия, я бы, пожалуй, натворил глупостей. Как ни досадно, брак с Амелией вне всякого сомнения уронит меня в глазах многих. Мое к ней внимание иные находят смешным, иные — жестоким, ибо полагают, что я занимаюсь ею забавы ради. Когда же все узнают, что я имею серьезные виды, о жестокости позабудут, а смеяться станут вдвое громче. Я все больше убеждаюсь в том, что самое лучшее — ее увезти. Тогда сочтут, что я действовал под влиянием страсти или из каких-либо неведомых побуждений. Но это чрезвычайно трудно осуществить.

№ 22. — В тот же день

Пожалуй, Амелия меня все-таки любит. Сказала мне несколько фраз, которые позволительно принять за недвусмысленные намеки; впрочем, в ее устах фразы, звучащие неопределенно, на поверку чаще всего оказываются общими местами. Однако она весьма явственно избегала своего смехотворного обожателя г-на де Фавержа, предпочитала говорить со мной, а не с ним и возмущалась жестокостью людей, которые прерывают разговоры собеседников, приятных друг другу. Не могу вообразить, чтобы эти слова не мне были адресованы. Я много думал относительно глупости Амелии. Ясно, что острым умом она не блещет. Она не получила образования, но, полагаю, тому, кто будет с нею ласков, она вверит себя вполне. Если обращаться с нею мягко, ее можно приручить. Я никогда не полюблю ее так страстно, чтобы устраивать ей сцены: ибо никогда не позволю ей оказывать влияние на мое поведение даже в вещах самых незначительных; если же она наскучит той жизнью, к какой я ее предназначаю, если начнет дуться и попрекать меня моими связями и невниманием к ее особе, тогда — невозмутимость, холодность, суровые и нелицеприятные оценки ее поведения; высказать ей все в таких словах, чтобы она поняла, а затем при первом же порыве раскаяния — снисходительность, ласки и удовольствия; это — верный способ получить над нею безраздельную власть. Мне тридцать шесть лет, в прошлом у меня развод, убеждения мои стоили мне почти официального предписания покинуть Францию; могу ли я надеяться взять в жены француженку (тысяча причин заставляет меня отказаться от мысли жениться на иностранке), которая была бы богата и умна? Могу ли я надеяться на это, притом что связь моя с Жерменой всем известна и что Жермена, встревожившись, способна поднять шум и разрушить все мои планы? А если я и отыщу женщину красивую, богатую, умную и согласную выйти за меня, кто поручится, что она не принесет мне, с моей любовью к независимости, много горя и не помешает осуществлению моих планов? Не лучше ли такая жена, которую сама природа предназначила к роли второстепенной и которая, пожелай она сыграть роль более значительную, не найдет ни в ком поддержки и не вызовет ничего, кроме смеха, так что в конце концов непременно покорится мужу как естественному своему защитнику, лишь бы он держался учтиво и хладнокровно? На свете найдется двести тысяч женщин, которые куда лучше Амелии. Не знаю, однако, сыщется ли хоть одна, которая была бы

лучше для меня.

№ 23. — 2 марта

За то время, что я не прикасался к этому журналу, я много выстрадал, много передумал, испытал много тревог. Жермена не едет в Париж. По этой причине она глубоко несчастна. Видя мою нерешительность, она составила себе превратное мнение о моих чувствах к Амелии: ее мучает ревность. В то же время нерешительность моя лишь усилилась. У Жермены тысяча достоинств. Амелия — полное ничтожество. А что если под этим ничтожеством скрывается характер вздорный и сварливый? Я успокаиваю себя тем, что сумею с этим справиться, что сумею принудить ее к покорности. Но удалось ли мне хоть раз в жизни кого-либо к чему-либо принудить? Буду откровенен; ведь я пишу не для публики, а для себя самого. У меня много мыслей, но мало силы. Люди докучные меня тяготят; недовольные мною — удручают. Браня слугу, я всегда чувствую, что не прав. Что же станется со мной, когда рядом окажется жена, которая, к несчастью, будет видеть меня без покровов! Характер мой несносен: я не имею уверенности в себе, даже когда я прав, если же я не прав, то вконец теряюсь, ибо не могу определить, в самом ли деле я заблуждаюсь или виню себя в этом лишь по причине собственной слабости. Посему действия мои нерешительны, а ощущения горьки, иными словами, таковое расположение ума приносит мне одни невыгоды. Я повинуюсь, как раб, имея притом вид деспота. Человек мягкий внушил бы к себе любовь, человек твердый принудил бы к покорству. Я не способен ни на то, ни на другое. Жермена давеча говорила мне не без оснований, что, лишь только я свяжу свою жизнь с Амелией, как ход мыслей моих тотчас переменится, ибо вместо недостатков женщины умной и чересчур знаменитой стану иметь дело с недостатками женщины посредственной, но оттого ничуть не менее требовательной и не менее капризной. Однако же, повторяю — и повторяю с болью, ибо я вступил в связь с Жерменой, повинуясь сердечной склонности, — нынешняя наша жизнь с ней невозможна. Она невозможна из-за тысячи препятствий, из коих одно решительно непреодолимо. Я нуждаюсь в чувственных удовольствиях; Жермена их мне дать не способна; связь с женщиной, стоящей ниже меня, мне отвратительна. Я не могу завести любовницу, ибо помыкать ею почитаю подлым; не могу в тридцать шесть лет иметь связи с замужними женщинами, потому что 1) я потрачу бесконечно много времени на дело, меня не достойное; 2) Жермена будет ревновать меня к замужним женщинам так же сильно, как к Амелии, и мы с нею рассоримся так же

неотвратимо. Следственно, мне нужно жениться. Жениться мне нужно и по другой причине — политической. Только женитьба позволит мне начать во Франции жизнь покойную и размеренную. Как мучительна нерешительность! Между тем отмечу одно обстоятельство. Вчера я был превосходно принят на бале всем здешним обществом; больше того, один из умнейших и почтеннейших жителей Женевы, и притом опекун Амелии, говорил со мною особенно дружески, настоятельно просил меня продлить пребывание в этом городе, уверял, что здесь все, и мужчины и женщины, меня любят, и в конце концов сказал, что общество мое для всех драгоценно, а выбор — за мной. Очевидно, что я получу Амелию в жены, когда захочу, и на тех условиях, какие поставлю.

№ 24. — Тот же день

Все не так просто, как я думал. Повсюду только и говорят, что о браке Амелии с болваном и молокососом де Фавержем. Поскольку то же самое говорили и обо мне, хотя я еще ни слова не сказал Амелии о своих намерениях, толки эти скорее всего ничего не доказывают. Однако могло случиться так, что, поскольку от меня она не слышала ничего определенного, желание выйти замуж пересилило в ней склонность ко мне, если даже она таковую склонность питала. Я не верю, что Амелия способна увидеть разницу между мною и всеми прочими, кто ее окружает; для этого ей недостает ума. В сущности, если она готова выйти за г-на де Фавержа, даже не попытавшись заполучить меня, не стоит о ней особенно жалеть в рассуждении чувства. Что же касается расчета и устройства жизни, тут дело другое. Жермена сегодня держалась превосходно, но все ее шипы остались при ней, и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что через пару дней сцены возобновятся. В нынешнем положении жить спокойно нам почти невозможно. Если сцены возобновятся, мы, я полагаю, расстанемся, а этого мне не хочется. Как бы там ни было, следует на что-либо решиться в отношении Амелии, однако чем больше я вглядываюсь в себя, тем меньше вижу решимости.

№ 25. — 4 марта

Слухи о свадьбе Амелии с г-ном де Фавержем звучат все более правдоподобно; я имею глупость принимать это весьма близко к сердцу. Жермена так долго убеждала весь свет в том, что я не собираюсь жениться на Амелии, а меня боязнь сцен отбросила так далеко назад в сношениях с этой последней, что она легко могла подумать, будто я обращаю на нее внимание лишь забавы ради, и привязаться к мальчишке довольно нелепому, но при этом довольно веселому, который имеет ум под стать ее собственному и ходит за ней по пятам. Дважды она пыталась — сколько это возможно при ее неловкости — вернуться к прежнему и дать мне повод заговорить о моих планах. Я этой возможностью не воспользовался, и она снова отвернулась от меня. Между тем моя нерешительность, возможно, сообщает дополнительные преимущества человеку, который в намерениях своих более тверд и явно больше стремится к женитьбе на Амелии. Все внешние обстоятельства говорят в мою пользу; мне, полагаю, достаточно было бы произнести одно-единственное слово; но если я этого слова не скажу, скоро может оказаться слишком поздно. Сказать же его — значит пойти наперекор здешнему обществу, которое находит этот брак смешным, и Жермене, которая сочтет меня вероломным.

№ 26. — 8 марта

Сплошные сцены, сплошные мученья. Жермена в ярости и последние три дня беспрестанно обрушивает на меня град обвинений, слез и упреков, так что я сам перехожу от безразличия к ярости и от ярости к безразличию. Связь мужчины, который больше не любит, и женщины, которая хочет быть любимой по-прежнему, ужасна. В объяснениях есть нечто столь жестокое — или же столь поверхностное и неопределенное, — что начинаешь стыдиться собственной бесчувственности или делать вид, будто ничего не слышишь. Всегда одно и то же: стоит Жермене почувствовать, что она вот-вот меня потеряет, как она привязывается ко мне еще больше прежнего; долгая привычка распоряжаться всем моим бытием заставляет ее верить, что я непременно к ней вернусь; довольно одной двусмысленной фразы, чтобы ее в этом убедить, а поскольку я все еще по-настоящему ее люблю, страдания, которые она испытывает, не находя во мне чувства, ей необходимого, причиняют мне страшную боль. С другой стороны, ее несправедливость меня возмущает. Когда она уверяет, будто я бросаю ее потому, что она несчастна, я возмущаюсь тем сильнее, что, складывайся ее дела лучше, я с еще большей силой стремился бы обрести независимость. Так я влачу жизнь, не принося счастья ни себе, ни другим. Что до Амелии, то она хочет выйти за меня, это ясно, больше того, только это и ясно. Мои предположения относительно г-на де Фавержа не имели под собой решительно никаких оснований. Но питает ли она ко мне хоть какое-нибудь чувство? Об этом мне до сих пор ничего не известно. Ей не может не льстить мысль о том, что я ее люблю. Однако ничто ни в поведении ее, ни во взглядах, на меня бросаемых, не обличает желания взволновать или смутить меня. Не находись я под прицелом Жермены, я бы давно покончил с этой неизвестностью. Покончил бы я с нею и в другом случае — если бы сам знал наверное, чего именно я хочу. Но с тех пор как, благодаря увлечению Амелией, я научился избегать гнева Жермены или же сносить его хладнокровно, мне кажется, что, пожалуй, лучше всего сделаться свободным и не связывать себя обязательствами новыми и куда более серьезными, нежели те, от которых я стражду ныне. Постоянная жизнь в деревне, если у меня достанет на это сил, если я не найду иного способа порвать с прошлым, или же путешествие по югу Франции, по Италии, по Германии — способы возвратить себе независимость, ничуть не менее надежные, нежели женитьба на Амелии. Стоит мне вообразить

Амелию, сделавшуюся моей законной супругой и принимающую моих друзей в имении близ Парижа, как на лбу у меня выступает испарина. Ее неумолчная болтовня; изумление просвещеннейших людей Франции при виде странного союза, мною заключенного; мое раздражение и суровость по отношению к женщине, которая ради меня отказалась от прежней своей жизни, не лишенной приятности, и на которой я имел неосторожность жениться, не питая иллюзий; упреки, которыми я стану осыпать самого себя и которые лишь усугубят мою вину, и без того очевидную, — все это обещает мне жизнь адскую. Будь Амелия очень молода и очень хороша собой, это бы все извинило. Характер мой таков, что мне совершенно необходимо быть правильно понятым теми, кто меня окружает. Быть же предметом их удивления и насмешек для меня невыносимо. Надобно во что бы то ни стало переменить мой образ жизни и возвратиться во Францию, а уж затем на что-либо решиться. Сделать предложение Амелии я успею всегда, лишь бы мне самому этого хотелось; между тем воздух Франции и ее умственный климат вкупе с возобновлением старых знакомств заставят меня, возможно, отказаться от намерения связать себя узами супружества.

№ 27. — 14 марта

Жермена все-таки вывела меня из терпения, и я наговорил ей много резких слов, признался в склонности к Амелии, одним словом, потерял голову. Что за странную власть имеет надо мной эта женщина! Со всеми остальными я могу держать себя в руках. Я осторожен, мягок, уверен в том, что не скажу ничего лишнего: с нею же память о прежних волнениях страсти и беспрестанных тревогах, оскорбления, какими она меня осыпает, несправедливость ее обвинений, настоятельность ее просьб, а главное, ужас, какой внушает мне мысль о вечном пребывании в ее власти, напрочь лишают меня самообладания. Чем дольше длится наша борьба, тем больше поводов у меня чувствовать себя виноватым, а у нее — бранить мой характер. Прежде она вредила мне тем, что вела жизнь бурную и беспорядочную, отводила мне место подчиненное и второстепенное, делала меня мишенью для врагов, вымещавших на мне ненависть, главным предметом которой была она сама. Отныне она будет вредить мне тем, что, желая отомстить, настроит против меня и своих собственных друзей, и тех, с кем ее свел я. Прежде по ее вине жизнь во Франции сделалась для меня опасной, теперь она станет трудной. Меж тем длить нынешнее положение дел, отвечать за ее сумасбродство и ее славу, расплачиваться за ее непоследовательность в делах серьезных и исполнять все ее требования в обстоятельствах повседневных решительно невозможно. Я умру от усталости и волнений. Я имел тысячу случаев расстаться с нею достойно. Я отдал бы полжизни за возможность это сделать: я всегда боялся причинить ей боль и откладывал это решение, теперь же все запуталось до такой степени, что разрыв окончится скандалом, а продолжение связи усугубит страдания.

Впрочем, не следует мне идти на поводу у моего воображения, которое вечно преувеличивает трудности любого предприятия. Разрыв с женщиной, которая известна своей непоследовательностью и которая наотрез отказывается выйти за меня, не должен навлечь на меня всеобщего осуждения. Не следует забывать, что она, хотя бы из тщеславия, не станет открывать, до какой степени безразличия дошел я в своих сношениях с нею. Тщеславие заставит ее объявить, что я поссорился с нею из-за ее нежелания выйти за меня. Наконец, легче снести осуждение общества, чем нынешнее иго. Итак, надобно взять себя в руки и выбрать наилучший способ действия. Очевидно, что чем дольше все это продлится, тем хуже

закончится. Я старею; следственно, времени на устройство жизни приятной и покойной остается у меня все меньше. В сорок лет найти жену мне будет еще труднее, чем нынче. В сорок пять одиночество сделается почти неотвратимым. Разрыв восьмилетней связи мучителен, но связь, продлившуюся десять или пятнадцать лет, разорвать еще тяжелее. Очевидно, что следует, стремясь смягчить горе Жермены и сохраняя благопристойность, разорвать нашу связь и ограничиться отношениями чисто дружескими, пусть даже тем самым я уроню себя в ее глазах. Но в то же время следует пойти на некоторые уступки, дабы избежать сцен, во время которых я всегда говорю много лишнего, а затем чувствую себя виноватым. Терпеть мне придется недолго, ибо я твердо решился уехать сразу после возвращения Эжена; какой бы оборот ни приняли дела Жермены, я уеду и увижусь с ней не прежде, чем устрою свою жизнь. Итак, при первой же возможности увидеться с Амелией, но не отдаваться склонности к ней настолько, чтобы вновь навлечь на себя гнев Жермены; дотянуть до возвращения Эжена, а затем, какие бы вести он ни привез, уехать на неделю в Эрбаж, уехать во что бы то ни стало, пусть даже не простившись. И лишь после этого выбрать наиболее уместный способ действий: либо хоть отчасти посвятить Амелию в мои планы, либо оставить все в нынешней неопределенности.

№ 28. — 17 марта

Самое прочное, самое неизменное…

<Далее несколько страниц из рукописи вырваны>

№ 29

<Начало фрагмента в рукописи отсутствует>

… свою кочевую жизнь в разных странах Европы, в то время когда, получив возможность распоряжаться собой, она полагает невозможным выйти за меня. Все это не имеет ни малейшего смысла; она может сколько угодно объяснять мое стремление к супружеству страхом изгнания, сколько угодно обвинять меня в том, что, не желая следовать за нею в странствиях по Германии и Италии, я бросаю ее в несчастье и предаю узы дружбы. Уединение и покой послужат исчерпывающим ответом на эти обвинения, а когда она немного успокоится, их опровергнет собственное ее сердце.

№ 30. — 21 марта

Прав я или не прав? Я снова подумываю об Амелии. Это не бог весть что, но душа у нее добрая. Как недавно сказала мне одна особа, причем особа, к Амелии не расположенная, глупость в ней разбавлена толикой ума. Это десятилетний ребенок, но такой ребенок, которому можно дать образование. Не думаю, чтобы в ней было много чувствительности, но к мужу она привяжется; вообще она так одинока, так слаба, что подчинить ее будет легче легкого. Она лишена кокетства; она прогнала г-на де Фавержа по первому моему требованию; если со мною она держится скованно, то виной тому собственная моя нерешительность. Связь моя с Жерменой ни для кого не тайна; я то и дело иду на попятный — все это не может не пугать Амелию. Родные вовсе не стремятся выдать ее замуж. Они аристократы и не одобряют мои убеждения; старинные предрассудки не мешают им принимать меня, но мешают увидеть во мне достойного жениха. Поэтому Амелии поневоле приходится держать себя так, а не иначе. Мне было бы приятнее, если бы она увлеклась мною настолько, чтобы ослушаться родных, но, принимая во внимание мою сдержанность и нерешительность, рассчитывать на это я не вправе. Она сказала, что общество мое ей чрезвычайно приятно. Приди долг на помощь склонности, она легко привязалась бы ко мне еще сильнее. Впрочем, откладываю все до возвращения из Франции.

№ 31. — 10 апреля

Я уехал. Десять дней я не виделся с Амелией. Ее образ почти изгладился из моей памяти. Скоро я окажусь среди людей и предметов, которые некогда волновали мою душу куда сильнее, и уже ощущаю притяжение этой на время покинутой сферы. Неделю я провел наедине с Жерменой. Сколько обаяния! Сколько страсти! Сколько самоотверженности! Сколько ума! Но могу ли я и дальше оставаться под игом, которое порою причиняет мне такие жестокие страдания? Женюсь я на Амелии или нет, разве могу я и дальше жить так, как теперь? Конечно нет. Я не отказался от своего намерения. Я хочу сохранить дружбу с Жерменой, хочу служить ей, способствовать ее счастью, но следовать за ней повсюду и во всем от нее зависеть я больше не могу. Мне потребна жизнь уравновешенная и спокойная. Я еду в деревню. Я должен жить там, если там меня оставят в покое. В противном случае я отправлюсь путешествовать, а недоброжелательное отношение ко мне со стороны властей окажется превосходным предлогом для расставания с Жерменой: она не должна разделить мою судьбу и страдать из-за меня, скажу я ей.